



Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

О степени участия народности в развитии русской литературы «Очерк истории русской поэзии» А. Милюкова. Второе, дополненное издание. СПб. 1858 г.

<...> Мы вовсе не хотели ставить нашу литературу выше всех европейских, вовсе не думали приписывать ей небывалого беспристрастия и широты взгляда, отрешения от частных интересов в пользу общих, высшее сознание человеческого достоинства и т. п. Совсем нет; мы хотели только сказать, что так как у нас до сих пор литература не считалась важной и существенной принадлежностью жизни, то по большей части никто и не думал делать ее орудием своих планов, никто не обращал внимания на то, служит ли литература каким-нибудь партиям и каким именно, к чему она расположена, против чего восстает. <...>

Познакомившись с нравами и государственным устройством других народов, Петр увидел, как важно образование народное для блага целого царства. Поэтому постоянной заботой его было водворение в России образования по примеру Европы. Лучшим средством для распространения образованности он справедливо считал книги, и в его время письменность русская является решительно провозвестницею воли монарха для подданных. Он понял, что при заботе о просвещении народа необходимо призвать на помощь живое убеждение, и это убеждение распространял посредством книг. Всякое событие его царствования, всякий новый закон, новое распоряжение находили себе объяснение и оправдание в произведениях письменности. Так являются во время Петра книга «О причинах, какие имел он к начатию войны со шведами», «Правда воли монаршей о наследовании престола», множество регламентов, специальных книг по части инженерной, артиллерийской, морской и пр., наконец, «Ведомости», в которых в первый раз русские увидели всенародное объявление событий военных и политических. Все новые потребности, возбужденные Петром, непременно, по его же мысли и желанию, сопровождались книжными явлениями, которые таким образом служили разумным оправданием мер, принятых правительством. Почти все книги

такого рода были изданы не частными людьми, а по распоряжению самого же правительства; но самая возможность писать о всяческих предметах, начиная с политических новостей и оканчивая устройством какой-нибудь лодки, расширила круг идей литературных и вызвала на книжную деятельность многих, которые в прежнее время никогда бы о ней и не подумали. Замечательнейшим явлением в тогдашней письменности был, без сомнения, крестьянин Посошков, решившийся рассуждать самоучкой о вопросах политической экономии — о средствах умножить избыток в народе и отвратить скудость¹. Не говоря о точке зрения Посошкова, которая, может быть, не совсем удовлетворит требованиям живой народной науки, заметим здесь только о том, как в этом случае простой здравый смысл русского человека сошелся с результатами, добытыми наконец в многолетних опытах и исследованиях людей ученых. Посошков принялся за рассуждения о богатстве народном просто потому, что этот предмет был к нему ближе всякого другого и проще для него; а между тем этот самый предмет составляет науку, служащую венцом всех так называемых общественных наук. Справедливость требует, впрочем, сказать, что Посошков, хотя и крестьянин, не был вполне представителем своего класса, а скорее выходцем из него: он занимал какую-то начальственную должность, и в его рассуждениях, вместо естественного побуждения прямых нужд народных, видны нередко разные административные виды. То, что в маленьких размерах приметно у Посошкова, в колоссальном виде выказалось у другого крестьянина, который, благодаря Петровой реформе, получил возможность выучиться разным наукам, побывал за границей и сделался тоже выходцем из своего сословия. Ломоносов сделался ученым, поэтом, профессором, чиновником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он. Иначе, впрочем, и не могло быть в то время: хотя Петр и уничтожил китайскую стену, отделявшую до него боярина от окольного, окольного от думного человека и т. д., хотя он, признавши права заслуг и образования, дал всем простор идти вперед, но не могли же все вдруг приобрести образование и отличиться заслугами. Всего легче могли воспользоваться средствами образования опять-таки дети бояр, окольных и т. п. Низшие сословия могли также высылать теперь на состязание своих избранных; но состязание во всяком случае было неровное, и эти избранные все-таки оставались едва заметными исключениями из целой массы. Если русская аристократия петровского времени не стала во главе целой нации по своей образованности и нравственному превосходству, то причина этого заключается, конечно, уж не в недостатке материальных средств, а просто в лени и неподвижности [разъедающем и оупляющем влиянии] нашего старинного барства. Впрочем, если не по умственным совершенствам, то по своему обществен-

ному положению [, по табели о рангах,] боярство все-таки завладело тогда литературою, и она, не сделавшись непосредственным достоянием высших классов, как была прежде достоянием духовенства, постоянно, однако же, употреблялась посредственно к их услугам. Мы говорим здесь о меценатстве, которое так распространилось у нас во времена после Петра и делало Россию отчасти похожую в некоторых отношениях на Рим времен империи и последних годов республики. Князь Кантемир, принадлежавший еще к веку самого Петра и притом сам аристократ, держался довольно независимо и по влечению сердца воспевал правительственные и общественные реформы Петра. Но Ломоносов имел уже своих *милостивцев*, в угоду которым сочинял разные «стиховные штуки», как говорил Тредьяковский. Ломоносов много сделал для успехов науки в России: он положил основание русскому естествоведению, он первый составил довольно стройную систему науки о языке; но в отношении к общественному значению литературы он не сделал ничего. Как до него схоластическая поэзия ограничивалась изображением «Орла российского» или сочинением аллегорического «Плача и утешения», в виршах Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, так точно и Ломоносова поэзия не шагнула дальше дидактического нравоучения да напыщенного воспевания бранных подвигов. Действительной жизни он не хотел знать и даже полагал, кажется, что о ней можно говорить не иначе, как низким слогом, которого должен избегать порядочный писатель. Нельзя же было, в самом деле, рассказывая хоть бы, например, о затруднениях мужика, у которого последняя лошадь пала, возвыситься до того пафоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином. Тут уже не только чувства не те, самый язык не тот будет. Возвышенным, красноречивым, витиеватым слогом можно воспевать только высокие явления жизни — взятие неприятельского города, отбитие у врага нескольких пушек, торжество по случаю победы, иллюминацию, раздачу наград и т. п. Вследствие таких соображений лучшие представители тогдашней литературы старались, так сказать, вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к [низким] предметам, касающимся быта простого народа, и в отношении к самому этому народу [к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу]. Ломоносов, правда, говорит иногда судиям земным, чтобы они блюлись от буйности и подданных не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится так, *en masse**, в видах отвлеченной добродетели и справедливости и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствию к нуждам народа. Так точно Сумароков восставал против невежества, спеси дворянской, взяточничества и т. п.

* Вообще (*фр.*). — *Ред.*

и в то же время сочинял трагедии, в которых разные герои, владыки и их наперсники вещали высоким слогом нелепейшие бессмыслицы. Те, против кого писал Сумароков грозные сатиры, слушали эти нелепости и хвалили, зная, что автор в милости у знатных особ; а простая публика, видя, что тут для нее ничего нет, преоткровенно грызла орехи во время представления. Тут уже Сумароков пришел в истинное негодование и от души высказал, что этот [«подлый»] народ не стоит чести смотреть трагедии российского Корнеля и Расина и что [сей подлый народ есть необразованная скотина, не признающая даже] таких авторитетов, как г. Вольтер и он, г. Сумароков. Но Сумарокову еще можно простить: у него уж такой нрав был: он всех ругал, сколько сил хватало, хотя сам и восхищался очень наивно своим чином и кавалерством. Можно, с другой стороны, простить и пресмыкание пред знатными какому-нибудь Тредьяковскому, которого можно было высечь за непоставку к сроку оды на маскарад: это уж был человек убитый; его так все и принимали за шута. О всех этих Петровых, Костровых и т. п. говорить нечего: они только и жили милостивцами, стараясь потешать их [невежество] то великолепной стиховой галиматъей, то собственной фигурой. Так, в Риме, после покорения им Греции, образованные рабы, гувернеры, пииты и вместе с тем шуты и полные невольники невежественных патрициев служили им своим умом, образованностью, ловкостью и вместе щеками и спиной. Учиться и работать считалось в тогдашнем Риме недостойным патриция; наука и работа признавались и в тогдашней России не дворянским делом. Высший класс выпустил из головы своей мысль об образованности и думал удержать ее в своих руках посредством подачек своим паразитам, торговавшим дарами просвещения. К удивлению, находим, что барам нашим проделка их удавалась очень долго. Г. Милюкову кажется, что Державин целым веком отделен от Ломоносова; но мы никак этого не находим. Державина сама императрица приняла под свое покровительство, но и тут не избавила его от необходимости отыскивать милостивцев, которых производил он и в геркулесы, и в гиганты, и чуть не в полубоги. Что же касается до взгляда на народ, его нужды и отношения, то Державин подвинулся немного со времен Ломоносова или даже Симеона Полоцкого. [Довольно припомнить его восклицание:

Прочь дерзка чернь, непросвещенна
И презираемая мной!²]

Восклицание, нужно признаться, не совсем гуманное, как и вообще произведения Державина, носящие на себе отпечаток то отвлеченной мертвой схоластики, то эпикурейских ощущений, не очищенных ни изящным вкусом, ни здоровой мыслью, то придворного шутов-

ства в духе нравов того времени. Нет, мы решительно не согласны с г. Милюковым, будто от Ломоносова до Державина совершилось какое-то громадное развитие в русской поэзии. Если развитие и было, то самое ничтожное, да и то скорее в отношении к внешности, к форме выражения, а уж никак не в отношении к развитию и расширению содержания. Как прежде воспевались отвлеченные добродетели и совершенства, так и теперь, только еще утомительнее. Ни одна из нравственных од Ломоносова не может поравняться величиною с подобными же одами Державина, из которых в иных нет ли, пожалуй, стихов до тысячи. Как прежде поэт падал ниц, в немом восторге, пред мужем брани, меряя свое благоговение числом людей, убитых под его начальством, так точно и теперь, — да еще восторженнее прежнего. Как прежде на всемирные события смотрели из маленькой форточки своего узенького окошечка с решеткой и меряли всю землю собственной четвертью, так и теперь круг зрения нисколько не расширился. Довольно привести один факт. Державин был кем-то обижен и написал «Оду на коварство». Через три года произошла французская революция; он приделал к своей «Оде на коварство» несколько строф и пустил ее в свет под названием: «Ода на коварство французского возмущения». Не удовольствуясь этим, он пришил к ней еще похвалу князю Пожарскому³. Такие воззрения существовали у русских поэтов прошедшего века!..

На кого еще указать из этого же периода литературы? На Хераскова и Княжнина? У них еще менее народности, еще менее возвышения до интересов общественных, чем у Державина. Предметы поэм Хераскова и трагедий Княжнина уже сами собою показывают, как мало чуяли дух русской народности сии высокопарные пииты, певшие «от варваров Россию свободенну» и гремевшие своими Росславами. Выбор событий мифологических или ненародных, отвлеченная точка зрения, старание делать намеки, приятные высшим (как, напр., в «Титовом милосердии»), — все это обличало отчуждение от народности, пренебрежение к нуждам и страданиям людей, если они только не пользуются громкими титулами⁴.

О Карамзине говорили у нас как о писателе народном, впервые коснувшемся родной почвы, спустившемся из области мечтаний к живой действительности. Правда ли все это? Можно ли сказать, что Карамзин избавился от призраков, которые тяготели над его предшественниками, и взглянул на действительную жизнь светло и прямо? Едва ли. Правда, державинское и ломоносовское парение является у Карамзина уже весьма слабо (а все-таки является); правда и то, что он изображает нежные чувства, привязанность к природе, простой быт. Но как все это изображается! Природа берется из Армидиных садов, нежные чувства — из сладостных песен труверов и из повестей Флориана, сельский

быт — прямо из счастливой Аркадии. Точка зрения на все по-прежнему отвлеченная и крайне аристократическая. Главная мысль та, что умеренность есть лучшее богатство и что природа каждому человеку дает даром такие наслаждения, каких ни за какие деньги получить невозможно. Это проповедует человек, живущий в довольстве и который, после вкусного обеда и приятной беседы с гостями, садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы. Выходит умилительная картина, в которой есть слова: природа, простота, спокойствие, счастье, но в которой на деле нет ни природы, ни простоты, а есть только самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастье других. Отчего происходило это? Неужели писатели карамзинской школы в самом деле полагали, что наши северные поселяне похожи на аркадских пастушков? Неужели они не видели, что в простом народе есть свои нужды, свои стремления, есть нищета и горе житейское, а не призрачное? Конечно, они это знали и видели; но им казалось, что этого незачем вносить в литературу, что это будет даже неприлично и смешно. [Так в наше время что сказали бы мы о писателе, который бы описал с пафосом и подробностью страдания лошади, оторванной от корму, запряженной против воли в карету и принужденной ударами кнута ехать, куда ей вовсе не хочется? Так] в карамзинское время дико было снисходить до истинных чувств и нужд простого класса. В самой истории Карамзин держится постоянно той точки зрения, которая выразилась в заглавии его творения: «История *государства Российского*». Через 20 лет после него Полевой хотел писать историю русского *народа*; но ему весьма плохо удалось его дело. Нельзя, впрочем, винить ни его за неудачу, ни Карамзина за его образ воззрения. История не сочиняется, а составляется по данным, сохранившимся более всего в письменных памятниках. А что представляла историку наша древняя письменность? Мы уже видели, что в ней принимали участие только два малочисленнейшие класса народа, и их только интересы выражались в ней. Следовательно, истории народа по данным летописным составить было невозможно, если человек не умел, как говорится, читать между строк. А Карамзин, если и имел отчасти это искусство, то единственно для проведения своей главной идеи о государстве. Таким образом нашел он, что Иоанн III в некоторых отношениях выше Петра Великого; таким образом умел провести нить великих князей киевских, а потом владимирских, чрез весь удельный период; таким образом порядку государственному он противопоставлял свободу народную; не умевши понять, что они нераздельны и взаимно друг друга поддерживают, он говорил: народы дикие любят свободу, народы просвещенные любят порядок... До какой степени Карамзин сблизил русскую литературу с действительностью, видно из творений его поклонника и последователя — Жуковского.

Мечтательность, призраки, стремление к чему-то неведомому, надежда на успокоение там, в заоблачном тумане, патриотические чувства, обращенные к русским шлемам, панцирям, щитам и стрелам, соединение державинского парения с сентиментальностью Коцебу, — вот характеристика романтической поэзии, внесенной к нам Жуковским. Одно только из русской народности воспроизвел Жуковский (в «Светлане»), и это одно — суеверие народное. И, кажется, только в этом отношении романтическая поэзия и могла соприкасаться с нашим народным духом: во всем остальном она отделялась от него неизмеримой пропастью.

И, однако же, Карамзин и Жуковский получили в русском обществе такое знание, какого не имел ни один из предшествовавших писателей. Чем же объяснить это? Тем, разумеется, что оба они удовлетворяли потребностям того общества, которое их читало. [Вопрос остается за тем, что это было за общество? Говорят, что Карамзина и Жуковского любит и знает Россия, и этому верят зело ученые люди, которые полагают, что они-то, ученые и образованные, и составляют Россию, а все остальное, находящееся вне нашего круга, вовсе недостойно имени русского.] Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно не приметную частичку великого русского народа. Вы, может быть, намерены возразить мне, заговоривши о преимуществах образованности, которая дает человеку власть над неодушевленной природой, над неразумными животными и возвышает нас над толпой. Но погодите хвалиться вашей образованностью, по крайней мере до тех пор, пока вы не найдете средств обходиться без этой толпы или давать ей столько же, сколько она вам дает. Всякий закон, всякое приобретение, всякое положение, всякая вещь, наконец, тем лучше, чем большему количеству личностей или предметов доставляет пользу или удобство. А это что же за великое явление, которое в течение веков все ограничивается сотнями и тысячами людей, не обращая внимания на миллионы!.. И поверьте, что эти миллионы вовсе не виноваты в своем невежестве: не они отчуждаются от знания, от искусств, от поэзии, а их чуждаются и презирают те, которые успели захватить умственное достояние в свои руки. Если же им и дают что-нибудь, вроде мертвых схоластических стихов вместо живой народной поэзии, то народ, естественно, отвращается от подобных прелестей, как вовсе не подходящих к его потребностям и к его положению. Кем же ограничивалась литература даже во времена Карамзина и Жуковского? Круг людей, требованиям которых удовлетворяли эти писатели, был, правда, шире прежнего. Ломоносовские и державинские оды восхвалялись и повторялись только людьми, нечуждыми придворной жизни; повести Карамзина и баллады Жуковского перечитывались, можно сказать, во всем

дворянском круге. Это и составляет значительный шаг вперед, сделанный карамзинскою школою. Вместе с тем она неизбежно должна была теперь несколько спуститься к действительности, хотя все еще далеко не достигла ее. Что в прежней, пиндарической школе⁵ было призрачное величие, то здесь — призрачная нежность; там великолепие, здесь достаток; там гром и молния, [здесь роса и радуга; там фейерверки,] здесь каскады; там трубы и кимвалы, грохочущие славу князей на удивление смертных, здесь арфы, призывающие простых детей природы наслаждаться чувствительностью. Здесь приближение к действительной жизни находим мы по крайней мере в том, что уже менее возбуждаются всякие страшилища и разрушители земного счастья. Литература сама еще не смеет подойти к действительности и объявить себя на стороне настоящего положения вещей; но уже с меньшей охотой, чем прежде, восхваляет она то, что противоречит естественному порядку дел. В литературе, видимо, является склонность к примирению с жизнью и характер консервативный. Теперь, если недовольство действительным миром и является, то уже не во имя каких-нибудь громких исключительных явлений, а во имя чего-то «очарованного», как выражался Жуковский, во имя каких-то глубочайших стремлений человеческого духа, которых, однако же, поэт и сам не признавал хорошенько. Такая перемена необходимо должна была явиться при расширении круга людей, интересующихся литературою. Очевидно, что в древние времена какой-нибудь скальд, для которого весь мир заключался в высокородном рыцаре, — его господине и милостивце, — мог без зазрения совести, с самым искренним восторгом, петь его бранные подвиги, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям человечества. Его ведь никто и не слышал из этого человечества; он пел для своего рыцаря и его дружины. Если же какие-нибудь скованные пленники и присутствовали тут же во время песни, то их стоны и проклятия только возвышали славу певца и удовольствие доблестного рыцаря с дружиною. Нельзя было оставаться при таком же направлении в то время, когда не одна рыцарская дружина, но уже и мирные граждане стали интересоваться поэтическими созданиями. Нужно было и их потешить чем-нибудь: и вот является для их удовольствия украшенная природа, грациозные китайские куколки, изящные чувства и т. п. Это был неудачный суррогат действительности, на которую явилась уже потребность, но которую боялись дать живьем, боясь оскорбить отвлеченные требования искусства.

Батюшков, любивший действительную жизнь, как эпикуреец, но тоже боявшийся пустить ее в ход прямо, увидел, однако, что наши попытки на создание золотого века из простой жизни никуда не годятся. Он пошел по другой дороге и в своей недолгой литературной деятельности выразил такое умозаключение: «Вы боитесь изображать просто природу и жизнь, чтобы не нарушить требований искусства;

но у древних вы признаете соблюдение правил искусства, смотрите же, я буду вам изображать жизнь и природу на манер древних. Это все-таки будет лучше, чем выдумывать самим вещи, ни на что не похожие». Это, действительно, было лучше, но все-таки было еще плохо, тем более что у нас почти не было людей, которые могли бы сказать, так ли Батюшков изображает мир и жизнь, как древние, или вовсе не похоже на них.

Пушкин пошел дальше: он в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле. В этом заключается великое историческое значение Пушкина. Но и в Пушкине проявилось это не вдруг, и притом проявилось не с той широтой взгляда, какой можно бы ожидать от такой художественной личности. Карамзинская опрятность, мечтательность Жуковского и эпикуреизм Батюшкова сильно проглядывают в нем; а к этому присоединяется еще влияние Байрона, которого, как справедливо замечает г. Милюков, Пушкин не понял и не мог понять как по основе собственного характера, так и по характеру общества, окружавшего его. Натура неглубокая, но живая, легкая, увлекающаяся, и притом, вследствие недостатка прочного образования, увлекающаяся более внешностью, Пушкин не был вовсе похож на Байрона. «Пушкин не мог понимать, — говорит г. Милюков, — той ужасной болезни, какою томилось общество европейское, не мог питать к нему той неумолимой ненависти и презрения, какие кипели в душе британского певца, рожденного посреди самого просвещенного народа, не мог проливать тех горьких, кровавых слез, какими плакал Байрон. Общество русское не было похоже на европейское, и если в то время в самой Европе не оценили еще значения певца Чайльд-Гарольда и называли его главою *сатанинской школы*, то, разумеется, Пушкин совсем не в состоянии был понять его... Он пленился только разочарованным и гордым характером его героев, мрачным колоритом картин и свободною легкостью формы». Таким образом, Пушкину долго не давалась русская народность, и он изображал разочарованных «Пленников» и «Алеко», вовсе не подозревая, что такое разочарование не в русском характере, хотя и встречалось в нашем обществе. Одаренный пронизательностью художника, Пушкин скоро постиг характер этого общества и, не стесняясь уже классическими приличиями, изобразил его просто и верно; общество было в восторге, что видит наконец *настоящую*, не игрушечную поэзию, и принялось читать и перечитывать Пушкина. С его времени литература вошла в жизнь общества, стала необходимой принадлежностью образованного класса. Но опять вопрос: как относится этот класс по количеству и качеству к населению целой России? Здесь нельзя не сознаться, даже с некоторым удовольствием, что класс людей, изображенных Пушкиным и находящихся в близких отношениях к нему, следовательно, им интересующихся,

весьма малочислен у нас. Повторяем: говорим это с удовольствием, потому что, если бы в России было большинство таких талантливых натур, как Алеко или Онегин, и если бы, при своем множестве, они все-таки оставались такими пошляками, как эти господа, — москвичи в гарольдовом плаще, — то грустно было бы за Россию. К счастью, их у нас всегда было мало, и их изображение не только народу было бы вовсе не понятно, но даже и в образованном обществе интересовало не всех. Гораздо более привлекли к Пушкину внимание публики те картины русской природы и жизни, какие рассыпаны повсюду в его стихотворениях и выполнены с удивительным художественным совершенством. В то время и живое изображение природы было в диковину, а Пушкин так умел овладеть формой русской народности, что до сих пор удовлетворяет в этом отношении даже вкусу весьма взыскательному.

Мы сказали: *формой* народности, потому что содержание ее и для Пушкина было еще недоступно. Народность понимаем мы [не только] как умение изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина: лучшим доказательством служит его «Русалка». Но чтобы быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ, — этого Пушкину не доставало. Его генеалогические предрассудки, его эпикурейские наклонности, первоначальное образование под руководством французских эмигрантов конца прошедшего столетия, самая натура его, полная художественной восприимчивости, но чуждая упорной деятельности мысли, — все препятствовало ему проникнуться духом русской народности. Мало того, — он отвращался даже от тех проявлений народности, какие заходили из народа в общество, окружавшее Пушкина. Особенно проявилось это в последние годы его поэтической деятельности. Жизнь все шла вперед; мир действительности, открытый Пушкиным и воспетый им так очаровательно, начал уже терять свою поэтическую прелесть; в нем осмелились замечать недостатки уже не во имя отвлеченных идей и заоблачных мечтаний, а во имя правды самой жизни. Ждали только человека, который бы умел изобразить недостатки жизни с таким же поэтическим тактом, с каким Пушкин умел выставить ее прелести. За людьми дело не стало: явился Гоголь. Он изобразил всю пошлость жизни современного общества; но его изображения были свежи, молоды, восторженны, может быть, более, чем самые задушевные песни Пушкина. Пушкин тоже тяготился пустотою и пошлостью жизни; но он тяготился ею, как Онегин, с каким-то бесильным отчаянием. Он говорил о жизни:

Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я⁶.

Но он не видел исхода из этой пустоты, его сил не хватило на серьезное обличение ее, потому что внутри его не было ничего, во имя чего можно было предпринять подобное обличение. Он мог только восклицать с лирической грустью:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум⁷.

Оттого-то он не пристал к литературному движению, которое началось в последние годы его жизни. Напротив, он покарал это движение еще прежде, чем оно явилось господствующим в литературе, еще в то время, когда оно явилось только в обществе. Он гордо воскликнул в ответ на современные вопросы: «Подите прочь! какое мне дело до вас!»⁸ и начал петь «Бородинскую годовщину» и отвечать «клеветникам России» знаменитыми стихами:

Вы грозны на словах, попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайльский штык?
Иль русского царя бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Можно было бы спросить: это ли направление чистой художественности? Не поднимает ли здесь поэт тоже общественных вопросов, с тою разницею, что здесь выражаются интересы совсем другого рода? Да, эти произведения были в поэтической деятельности Пушкина шагом назад, — к державинской и ломоносовской эпохе. Но общество наше было теперь уже не то. Г. Милюков справедливо говорит: «Общество скоро поняло, что любимый поэт оставил его, что народные радости и печали не находят уже в нем горячего сочувствия и даже встречают холодное презрение. Тогда публика, в свою очередь, по невольному инстинкту, оставила поэта. Это охлаждение публики сильно тревожило Пушкина в последние годы его жизни. Он видел, как разорвалась та симпатическая связь, которая соединяла его с обществом, и начал с лихорадочным беспокойством бросаться во все отрасли литературы: в историю, роман, журналистику, отыскивая какой-нибудь струны, которая связала бы его

с публикою. Но ничто не помогало, и смерть избавила его от печальной необходимости видеть себя живым мертвецом посреди того общества, которое прежде рукоплескало каждому его слову» (стр. 177). Все это служит доказательством того, что Пушкин постиг только форму русской народности, но не мог еще войти в дух ее. Этим-то и объясняется, что в последнее время он стал писать стихотворения: «Клеветникам России» и т. п., имевшие, может быть, прекрасную художественную отделку, но по своей мысли все-таки назначенные «для немногих», а никак не для большинства публики. Впрочем, недавно изданный VII том Пушкина доказывает, что восприимчивая натура поэта не оставалась глуха к призывам общественных вопросов; только недостаток прочного, глубокого образования препятствовал ему сознать прямо и ясно, к чему стремиться, чего искать, во имя чего приступать к решению общественных вопросов.

Более сил нашел в себе Гоголь, которого значение в истории русской литературы не нуждается уже в новых объяснениях. Но и он не смог идти до конца по своей дороге. Изображение пошлости жизни ужаснуло его; он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что ее нужно до конца преследовать, нисколько не опасаясь, что она может бросить дурную тень на самый народ. Он захотел представить идеалы, которых нигде не мог найти; он, не в состоянии будучи шагнуть через Пушкина до Державина, шагнул назад до Карамзина: его Муразов есть повторение Фрола Силина, благодетельного крестьянина, его Уленька — бледная копия с бедной Лизы. Нет, и Гоголь не постиг вполне, в чем тайна русской народности, и он перемешал хаос современного общества, кое-как изнашивающего лохмотья взятой взаймы цивилизации, с стройностью простой, чистой народной жизни, мало испорченной чуждыми влияниями и еще способной к обновлению на началах правды и здравого смысла.

Если окончить Гоголем ход нашего литературного развития, то и окажется, что до сих пор наша литература почти никогда не выполняла своего назначения: служить выражением народной жизни, народных стремлений. Самое большое, до чего она доходила, заключалось в том, чтобы сказать или показать, что есть и в народе нечто хорошее. С течением времени подобные замечания и указания делаются все чаще и чаще, и в этом пока заключается развитие нашей литературы. В числе исключительных личностей, мало имевших влияния на литературное движение, нельзя забыть Крылова, Кольцова и Лермонтова. Крылов ограничил свою деятельность одним родом литературных произведений — баснею и потому мало имел влияния на развитие литературы, хотя, конечно, значение его будет весьма велико, когда его басни дойдут до народа. Кольцов жил народною жизнью, понимал ее горе и радости, умел выражать их. Но его поэзии недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими част-

ными житейскими нуждами; оттого песни его, при всей своей простоте и живости, не возбуждают того чувства, как, например, песни Беранже. Лермонтов же обладал, конечно, громадным талантом и, умеючи рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно. Он говорит:

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Что же любит в родине этот поэт, равнодушный и к воинской славе, и к величавому покою государства, и даже к преданьям темной старины, записанным смиренными иноками-летописцами? Вот что он любит:

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи кочующий обоз
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску, с топаньем и свистом,
Под говор пьяных мужичков.

Полнейшего выражения чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта. К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общества с тою широтою взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов...

Таков был, по нашему мнению, общий ход развития русской литературы с древнейших ее времен.

А сатирическое-то направление? — восклицает читатель. — Вы о нем ничего не говорите? Что литературное развитие вообще было слабо, это мы знаем; это и г. Милюков говорит, и еще гораздо сильнее вас. Но он вместе с тем превозносит сатирическое направление. Г. Милюков говорит, что без сатирического направления никакого спасения не было для русской литературы и что сатирическое направление всегда ее поддерживало, оживляло, возносило и прославляло. Г. Милюков говорит, что «сатира всегда сражалась с массою, которая постепенно уменьшается; что она враждовала с настоящим, как с остатками прошедшего, указывая на славное будущее; что она всегда производила благотворное действие на нравы; что в сатире общество наше нашло того двигателя, который постоянно продолжает вести его по пути к совершенству, уничтожая преграды, поставленные вековым отчуждением и невежеством». Вот что говорит г. Милюков о значении сатиры. А вы даже не упомянули о ее благотворном влиянии!

— Да, — отвечаем мы, — верьте г. Милюкову! Он слишком нежно смотрит на русскую литературу; он проникнут такою горячею любовью к ней, что непременно хочет в ней отыскать нечто превосходное и благодетельное для нравов общества. Не за что взяться, так он и принялся за сатиру как за прекрасное средство дать почувствовать благородные стремления литературы. Это с его стороны большая поблажка, делающая честь доброте его сердца, но тем не менее излишняя. Что касается до нас, то мы вполне верим г. Милюкову только тогда, когда он бранит что-нибудь: уж если такой добрый и снисходительный человек находит, что это дурно, думаем мы, то уж верно и в самом деле дурно. Но когда он хвалит, то нельзя не видеть, как его доброе сердце преувеличивает значение восхваляемой вещи. Вот хоть бы и сатира русская... Мы о ней нарочно не говорили именно потому, что г. Милюков так превозносит ее. «Очерк поэзии» г. Милюкова составлен так хорошо, как ни одна из историй русской литературы, и потому нам не хотелось спорить с почтенным автором о предмете, который так последовательно проведен им по всей книге. Сатирическое направление, разумеется, хорошо; кто же об этом спорит? Но зачем приходить от него в такой восторг? зачем приписывать ему исправление нравов общества, зачем считать его каким-то двигателем? Стоит всмотреться пристальнее в нашу сатиру, чтобы убедиться, что она проповедовала зады. Положение наших сатириков было, в самом деле, отлично-выгодное: они видели перед глазами, в других частях Европы, лучший порядок и могли смеяться над нашим дурным порядком, зная, чего именно хотят они. Они могли выставять на позор наши заблуждения, наше невежество, почерпнув из западной науки истины, еще неизвестные и недоступные нашему обществу. Но что же

делала наша сатира? Она всегда шла позади жизни, тогда как по своему исключительному положению среди нашего общества могла опережать ее; она видела порок только тогда, когда он был уж уличен, опубликован и всенародно наказан; ранее она не осмеливалась дотронуться до него. Ведь были у нас, конечно, люди образованные и раньше Кантемира; были и противники просвещения; отчего же только после указа Петра о том, что стыдно быть невеждою, особливо дворянину, и что все дворяне должны учиться, — отчего только после этого является сатира на хулящих учение?.. Пьянство испокон веку у нас было распространено; против него были указы еще в XVI и XVII вв., а до Кантемира опять никто сатирически не изобразил его. Местничество при Петре уже окончательно пало, а Кантемир потешается над ним (т. е. вообще над боярской спесью) в целой длинной сатире⁹. А ханжество, лесть, обман и т. п. разве меньше были распространены до Кантемира? Что же никто не поражал их? Ответ, конечно, легок: тогда и сатиры вовсе не было, а на нет и суда нет. Ну, хорошо; а почему Кантемир не поражал тех пороков, какие в его время были сильны? Вы спросите, какие пороки? Да возьмите современные записки или хоть немножко пораньше. Возьмите хоть Кошихина. Вот, например, он говорит, что при царском погребении, которое совершается всегда ночью, бывает страшный грабеж, потому что московских людей *натура не богобоязливая*: «...и сыщется того дни, как бывает царю погребение, мертвых людей, *убитых и зарезанных*, больше ста человек. И изойдется на царское погребение денег на Москве и в городах близко того, что на год придет с государства казны» (стр. 17). Или, например, тот же почтенный подъячий пишет, что «во всем свете нигде такого на девки обманства нет, яко в московском государстве», и описывает эти обманства. А они продолжались, с разными видоизменениями, и во времена Кантемира. Или — у Кошихина есть такое известие о чиновниках: хотя, говорит он, за взятки и положено наказание, и чиновники клянутся и крест целуют, чтобы посулов не принимать, но «ни во что вера их и заклинательство: от прелести очей свои удержати не могут и руки ко взятию скоро допускают, хотя не сами собою, однако по задней лестнице через жену, или дочь, или через сына, и брата, и человека, и не ставят того себе во взятые посулы, будто про то и не ведают» (стр. 93). Или вот это: «...а буде (бояре и дворяне) учинят над подданными своими крестьянскими женами и дочерьми какие блудные дела, или у жонки выбьют робенка, или мученая и битая с робенком умрет, и будет на таких злочинцев челобитье, и по их челобитью отсылают такие дела на Москву к патриарху» (стр. 114). Да чего тут ждать челобития! Сатирой бы их хорошенько, этих злочинцев! Их-то именно и прикрыть бы сатирой! Но сатира Кантемирова молчала об этом, а восставала с благородным негодованием против Медора, завивающего кудри, против Менандра,

переносящего вести, против скупого Хризиппа, против расточительного Клеарха¹⁰. А главной ее заботой было воспеть пользу преобразований, уже сделанных Петром, и посмеяться над теми, которые бессильно, на словах, еще отвергали их пользу. А то мало ли было во время Петра и вскоре потом пороков, подлежащих обличению литературы! Загляните только в «Записки Желябужского»; чего там нет! «В 193 (1685) г. князю Петру Крапоткину чинено наказание: бит кнутом за то, что в деле своровал, выскреб и приписал своею рукою. В том же году князь Яков Иванов, сын Лобанов-Ростовский, да Иван Андреев, сын Микулин, ездили на разбой по Троицкой дороге к красной сосне, разбивать государевых мужиков, с их, великих государей, казною, и тех мужиков они разбили, и казну взяли себе, и двух человек мужиков убили до смерти. В 201 г. (1693) князю Александру Борисову, сыну Крупскому, чинено наказание: бит кнутом за то, что жену убил. В 202 г. земского приказу дьяк Петр Вязмитинов перед московским судным приказом подыман с козел и, вместо кнута, бит батоги нещадно: своровал в деле, на правеж ставил своего человека вместо ответчика». Такие явления заслуживали, я думаю, литературного обличения, более нежели завиванье кудрей и пристрастие к французским модам. Если хотите проследить явления русской жизни, подлежащие сатире, далее, то можете заглянуть во многие книги, только не в сатирические творения. В русской сатире современность вы редко найдете; скорее попадетса она вам в каких-нибудь мемуарах Манштейна, Миниха, Храповицкого, Грибовского, в «Семена Порошина записках», в «Актах, извлеченных из иностранных архивов» Тургеневым, в «Полном собрании законов Российской империи». В Полном собрании есть, например, указ Петра I о том, «что крестьян продают на розницу, как скотов, и даже так, что от семей, от отца или от матери, дочь или сына помещик продает, отчего немалый вопль бывает». Сатира не коснулась таких явлений до последнего времени. Можно ли же после этого сказать, что она была двигателницею общества по пути к совершенству? стоит ли также говорить о ее благотворном влиянии на исправление нравов? Сумароков преследовал взяточничество; это было хорошо, хотя и поздно немножко, потому что об этом зле есть уже положительные упоминания в XVI столетии. Но что же вышло из его обличений? Через 25 лет после него Капнист опять обличал то же¹¹, через 40 лет потом Гоголь восстал против того же в «Ревизоре»; ныне, через 20 лет после «Ревизора», образовалась целая литература приказной казуистики; видно, что мало пользы принесли сатиры русских авторов, как они ни были разнообразны и ядовиты. А все отчего? оттого, что сатира всегда была робка, мелочна, близорука, пока сама жизнь не опережала ее. Кого выводили преследователи взяток? Городничего, исправника, станового, квартального, председателя гражданской палаты да еще какого-то нарицательного судью, вероятно

уездного. Предположите же, что все подобные мелкие чиновники исправились бы после сатирических нападений на них; думаете ли вы, что этого было бы довольно для прекращения взяточничества в целой России? Притом посмотрите, с какой точки зрения делаются у нас все обличения сатирические. Говоря, совершенно справедливо, что

...Законы святы,
Да исполнители лихие супостаты¹², —

наши сатирики на этом и успокаиваются. Не принимая в расчет состояния общественной нравственности, ни исторических обстоятельств развития порока, ни общего положения администрации, ни отношений одного класса к другому, сатирики рады свалить всю беду на бедную личность чиновника, которая часто вовсе без вины виновата. Так, один умный администратор, вроде Сквозника-Дмухановского, хотел предать суду одного человека, пойманного на месте в азартной игре. «С кем же он был пойман?» Да один, видите: он вел азартную игру сам с собою!

Возьмите другой порок, который преследовала наша сатира, — невежество. Кантемир смеялся над теми, которые не слушаются указов Петра I; чувства его очень похвальны, хотя опять нельзя сказать, чтоб они предупредили жизнь... Но посмотрим, что из того вышло. Прошло 30–40 лет; Сумароков опять выводит господина, который говорит:

...Не надобно наук:
Пускай убытчатся, уча ребяток, моты,
Мой мальчик не учен, а в те ж пойдет ворота¹³.

Прошло еще лет 20; г-жа Простакова говорит: что за география? извозчики есть; что за деление? ни с кем делиться своим добром не надобно, и пр. в этом духе. Проходит еще лет 40, и мы слышим сожаление о князе Федоре, который бог знает зачем учится разным наукам...¹⁴ Что из этого следует? По-нашему, то, что одно из двух положений г. Милюкова в пользу сатиры неверно: или сатира не производила благодетельного влияния на нравы, или же она производила его, и тогда, значит, после Кантемира, она уж все повторяла зады единственно для своего удовольствия.

Повторять зады, впрочем, не в диковинку было русской сатире: она отлично умела бранить то, что уж отжило свой век и было неопасно. В этом отношении особенным искусством отличался Державин. Он умел сочинить даже оду сатирическую, обративши стрелы своего остроумия на прошедшее да на некоторые анонимные личности, которых, впрочем, испугался, узнав, что до них дошла его ода. Между прочим, он остроумно и справедливо говорит, что при дворе Фелицы

...Свадеб шутовских не парят,
 В ледовых банях их не жарят;
 Не щелкают в усы вельмож;
 Князья наседками не клохчут,
 Любимцы въявь им не хохочут
 И сажей не марают рож¹⁵.

А ведь когда это все совершалось, ничей сатирический голос не поднялся для порицания подобных потех! Вот вам и могущество русской сатиры!

Если же не на прошедшее обращались нападения сатириков, то уж на такие микроскопические недостатки, от которых общественная нравственность решительно не изменяла своего положения. Например, в прошлом столетии каждый сатирик непременно преследовал со всем жаром «плохих стихотворцев». На них и сатиры и басни писались, и в посланиях они задевались, и даже, кажется, в разговорах в царстве мертвых осмеивались. Не правда ли, какое достойное занятие для русского сатирика! Как хорошо рисуется этим домашнее, патриархальное значение русской литературы, которая писалась сама для себя, находила предметы в своем тесном кружке и довольна была тем, что производила послания одного поэта к другому, эпиграммы другого на третьего, критики третьего на послания первого, сатиры первого на критики третьего и т. д. Вот уж в подлинном смысле литература была сама для себя целью: художественная, видно, была литература!

Что же касается до действительных и важных злоупотреблений поэзии, они никогда не встречали своевременного обличения. Пиндаризм, имевший в виду

...Награду перстеньком,
 Нередко сто рублей, иль дружество с князьком¹⁶, —

не встретил насмешки ни в ломоносовское, ни в державинское время; а уже тогда, когда он отжил свой век, явилась злая сатира Дмитриева: «Чужой толк». Над поэмами Хераскова тоже стали смеяться только с двадцатых годов нынешнего столетия. Только над Жуковским Батюшков осмелился посмеяться очень скоро, сочинивши пародию на его «Певца», зато пародия эта не была известна публике до прошедшего года.

А подражание французам! От Кантемира, Сумарокова, Фонвизина до «Русского педагогического вестника», издаваемого с прошлого года неким господином Вышнеградским, — все, вот уж с лишком сто лет, все нападают на подражание французам; но только все не впрок! Бог знает отчего это! — кажется, уж «Русская беседа» и русское воззрение сочинила на место французского, а все толку нет: как открылась первая возмож-

ность, так и отправились десятки тысяч за границу... А заметьте, что подражание французам распространено ведь в ничтожном меньшинстве русских; народ и до сих пор, хоть и не чуждается иноземцев, как прежде, но и не думает принимать их нравы. Что же это за могучая сатира, которая с ничтожным кружком в частном вопросе не может справиться?

Нет, как вы хотите, и в сатире нашей постоянно господствовала та мелкость, та узкость взгляда, которые мы заметили вообще в нашей литературе. И сатира не возвышалась у нас до понимания народных интересов, несмотря на некоторые исключительные явления, почти всегда имевшие только частный смысл. [Нельзя же ведь Сумарокова, например, назвать представителем народных интересов только потому, что у него есть такие стихи:

На то ль дворяне мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Мужик и пьет и ест, родился и умрет;
Господский так же сын, хотя и слаще жрет,
И благородие свое нередко славит,
Что целый полк людей на карту он поставит;
Ах, должно ли людьми скотине обладать¹⁷.

Этими стихами обольщаться не должно: смысл их не простирается далее такого заключения: людьми надобно обладать не скотине, а людям, и обладать по-людски, т. е. милостиво и справедливо. Та же мысль и у Фонвизина, в отзывах Простаковой о Палашке. В случае надобности, это можно доказать другими местами из их сочинений.]

Вообще, что русская сатира не народна, это видно уж из того, что она противоречит народной пословице: «Лежачего не бьют». Она постоянно восставала на лежачего, как только переставала пересыпать из пустого в порожнее. А большею частью занималась этим полезным пересыпаньем. Ведь придет же, в самом деле, в голову русскому сатирику переводить «Боалову сатиру о различии страстей человеческих»! Или переделывать на русские нравы Ювеналову сатиру о благородстве!¹⁸ Грибоедов как будто имел в виду русских сатириков, изображая Чацкого. Ни к селу ни к городу людям, которые не хотят их слушать и не могут понять, а если поймут, то не могут выполнить их требований, начинают они кричать о Кузнецком мосте и вечных нарядах, об иголках и шпильках (не замечая слона), восстают против фраков и бритья бород (а сами выбриты и во фраке), против мелочных недостатков, зависящих от обычая или даже приличий, принятых всеми и, в сущности, никому не мешающих. И тут же вдруг, как снег на голову, грянут с каким-нибудь маленьким требованьем: будь, дескать, добродетелен, служи бескорыстно, ставь общее благо выше

собственного, и т. п. абстракции, весьма милые и вполне справедливые, но, к несчастью, редко зависящие от воли частного человека... Совершенно так, как Чацкий издевается над фракком, очень хорошо понимая, однако, что носить или не носить фрак, брить или не брить бороду вовсе не зависит от восклицаний какого-нибудь одного азартного господина.

Нет, мы решительно недовольны русской сатирой, исключая сатиры гоголевского периода. Вот почему и не хотели мы говорить о ней так, как мы о многом не хотели говорить в этой статье. Просим читателей не видеть в наших отрывочных заметках каких-нибудь особенных претензий. Мы даже не хотели проводить своего взгляда по всем явлениям русской литературы; мы сказали только, что любопытно было бы представить ход развития русской литературы с такой точки зрения: как она постепенно сближалась с народом и действительностью, постепенно избавляясь от исключительного влияния книжников-монополистов и от призрачных, туманных идей, насильно навязанных ими литературе. Г. Милюков отчасти имел в виду этот взгляд в последней половине своего труда, именно в оценке деятельности Пушкина, Лермонтова и Гоголя; но, увлекшись жаркою любовью к сатирическому направлению, он не мог провести этого взгляда по всей книге. Да если бы и провел, то результаты его оказались бы, вероятно, излишне плодотворны, опять по тому же крайнему уважению к сатире. Мы же, с своей стороны, признаем только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его школы, да и то не в таких громадных размерах, как представляет г. Милюков. Мы видим, что и Гоголь хотя в лучших своих созданиях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической оцупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти дальше и уже все вопросы жизни пересмотреть с той же народной точки зрения, оставивши всякую абстракцию и всякие предрассудки, с детства привитые к нему ложным образованием, тогда Гоголь сам испугался: народность представилась ему бездной, от которой надобно отбежать поскорее, и он отбежал от нее и предался отвлеченнейшему из занятий — идеальному самоусовершенствованию. Несмотря на то, художническая его деятельность оставила глубокие следы в литературе, и от нынешнего направления можно ожидать чего-нибудь хорошего, потому что нынешние деятели начинают явно стыдиться своего отчуждения от народа и своей отсталости во всех современных вопросах. Предупредить жизни литература не может, но предупредить формальное, официальное проявление интересов, выработавшихся в жизни, она должна. Пока еще известная идея находится в умах, пока еще она только должна осуществиться в будущем, тут-то литература и должна схватить ее, тут-то и должно начаться литературное обсуждение предмета с разных сторон и в видах различных интересов. Но уж когда идея перешла в дело, сформировалась и решилась окончательно, тогда литературе нечего делать; разве только

один раз (не больше) похвалить то, что сделано. Поздняя же брань будет просто постыдным пересыпанием из пустого в порожнее и будет только напоминать того хохла, который, будучи сильно побит, пришел домой и храбрился перед родными, хвастаясь, что когда его били, так он тоже свое дело делал — «показывал фигу» в кармане.

Пора наконец и расстаться с г. Милюковым. Но мы не можем расстаться с ним, не обративши внимания читателей на его превосходный разбор «Мертвых душ» по всем правилам эпической поэмы. Применение всех этих правил к «Мертвым душам» обнаруживает в авторе большой диалектический талант. Как, напр., умел он найти *чудесное* в «Мертвых душах»? Это была трудная задача, а он нашел, и нашел так искусно, что мы не можем удержаться от удовольствия выписать это место:

В героической поэме, по условиям теории, должно быть чудесное: таково в «Энеиде» вмешательство Эола и Юноны в судьбу сына Анхизова, а в «Илиаде» — участие богов Олимпа во всех битвах и событиях под стенами Трои. И это мы находим в нашей отечественной эпопее. Что может быть чудеснее этих мертвых душ, которые «окончили в некотором роде свое земное существование», а между тем невидимо присутствуют перед вами во всей повести и служат главным основанием подвигов героя, важнейшим средством его к достижению высокой цели обогащения? И кому не покажется сверхъестественным, что души крестьян, давно уже совершивших свое жизненное поприще, существуют еще за Стиксовой гранью гражданской палаты, незримо живут в грудях бумаг и ре-визских сказок, таинственно прикованы еще к земле и не смеют вкусить успокоения в Елисейских полях, пока не прозвучит труба новой ревизии и не освободит их от невидимого заключения в судебных вертепах! Кто не увидит чудесного в том, что эти мертвые души продолжают еще невидимо платить за себя подати и отправлять повинности, служить предметом сделок и процессов, средством обогащения и спекуляции и даже вводят в сомнение Коробочку, не годятся ли они еще на что-нибудь в домашнем хозяйстве! Все это в высшей степени чудесно, а вместе с тем действительно и вполне естественно, — выгода, какой не имел решительно ни один из древних эпических поэтов (стр. 214–215).

Повторим в заключение, что книжка г. Милюкова умнее, справедливее и добросовестнее прежних историй литературы, составлявшихся у нас в разные времена, большею частью с крайне педантической точки зрения. Особенно тем из читателей, которые стоят за честь русской сатиры и которым наш взгляд на нее покажется слишком суровым и пристрастно-неблагонамеренным, таким читателям лучше книжки г. Милюкова ничего и желать нельзя в настоящее время.

